29 февраля – 100 лет со дня рождения Фёдора АБРАМОВА

Фёдор Александрович АБРАМОВ (29 февраля 1920, село Веркола, Архангельская губерния — 14 мая 1983, Ленинград) — русский советский писатель, литературовед, публицист. Один из наиболее известных представителей так называемой «деревенской прозы», значительного направления советской литературы 1960—1980-х годов.

После окончания Верколькой начальной школы-четырёхлетки Абрамов пошёл в 5 класс в Кушкопальскую школу. В 1933 году Фёдор переехал в райцентр — село Карпогоры (45 км от Верколы), чтобы закончить десятилетнюю школу. В 1938 году после окончания с отличием средней школы был зачислен без экзаменов на филологический факультет Ленинградского университета.

После третьего курса, 24 июня 1941 года ушёл добровольцем в народное ополчение. Служил пулемётчиком 377-го артиллерийско-пулемётного батальона, в сентябре 1941 года был ранен в руку, после короткого лечения вновь вернулся на передовую. В ноябре 1941 года был тяжело ранен (пулей перебиты обе ноги), лишь по случайности обнаружен бойцом похоронной команды, собиравшей убитых. Провёл блокадную зиму 1941—1942 года в ленинградском госпитале, в апреле 1942 года был эвакуирован по льду Ладожского озера одной из последних машин.

Окончил с отличием филологический факультет Ленинградского государственного университета (1948) и поступил в аспирантуру ЛГУ.

Во время учёбы познакомился со своей будущей женой Людмилой Крутиковой (1920—2017)(впоследствии — литературным критиком, исследователем творчества И. А. Бунина). В 1951 году женился и защитил кандидатскую диссертацию по творчеству М. А. Шолохова. В 1951—1960 годах был старшим преподавателем, затем доцентом и заведующим кафедрой советской литературы ЛГУ.

В 1950 году на хуторе Дорище Новгородской области Абрамов начал писать свой первый роман «Братья и сёстры», который был закончен через шесть лет. В течение двух лет роман не принимали к публикации, писателю отказали журналы «Октябрь» и «Новый мир». В 1958 году роман был опубликован в журнале «Нева» и был доброжелательно встречен критикой. В 1960 году Абрамов оставил кафедру и стал профессиональным литератором.

В 1963 году в журнале «Нева» вышла повесть «Вокруг да около», вызвавшая постановление Ленинградского горкома КПСС об искажении колхозной жизни, редактор журнала снят с работы.

30 октября 1981 года Фёдор Абрамов выступил на авторском вечере в Останкино, который транслировался по телевидению на всю страну. Конспект этого четырёхчасового выступления был опубликован только в 1993 году.

Ф. А. Абрамов умер 14 мая 1983 года в Ленинграде. Похоронен в селе Веркола на правом берегу реки Пинега; на левом берегу находится Артемиево-Верколький монастырь, вопросом восстановления которого Абрамов был озабочен в конце жизни. В Верколе открыт музей Абрамова.

В Питер за сарафаном

…Ходила наша бабушка. За сарафаном ходила. Расскажи, Филиппьевна, не забыла ещё? — Как забыть-то… Мне ещё тогда говаривали: ну, девушка, всю жизнь будешь вспоминать Питер. Вишь, родитель-то у меня из солдатов был, бедный, — издалека начала она, — а нас у его пять девок. А мне уж тогда пятнадцатый год пошёл, а я всё в домашнем конопляном синяке хожу. Вот раз зашла к суседям, а у них посылка от сына пришла — в Питере живет. И такой баской сарафан прислал сестре — я дыхнуть не могу. Алый, с цветами лазоревыми — как теперь вижу… Ну, скоро праздник престольный подошёл — Богородица. Вышли мы с Марьюшкой — это дочь-то суседей, которым посылка из Питера пришла. Вышли впервой на взрослое игрище. Она в новом сарафане, а я в синяке, только поясом новым — сама соткала — подпоясалась. Смотрю, и робята толк в сарафанах понимают. Я хоть и маленькая росточком была, можно сказать, век недорослком выжила, а на лицо ничего, приглядна была. А Марьюшка, прости господи, тюрятюрей — губы распустит, на ходу спит. А тут в новом-то сарафане нарасхват пошла. Бедно мне стало. Вот и думаю: мне бы такой сарафан! — боюсь в девках засидеться. А откуда такой сарафан возьмёшь? Житье-то у родителей не богато. Братьев нет. Вижу, самой смекать надо. А где? Куда девку-малолетку возьмут? Ни в лес, ни в работницы. Да и сарафанто питерский мутит голову. У иных девок тоже сарафаны, да не питерские — дак робята-то не так кидаются. Ну и порешила: пойду в Питер за сарафаном. Мама, как услыхала, что я в Питер надумала, заплакала. «Что ты, говорит, Олюшка, умом пошаталась?» А тата-покойничек, крутой на руку. Икону с божницы схватил: «Моя, говорит, девка! Иди, Олька. Люди же, говорит, ходят». Ну, матенка непривычна была перечить — не нонешнее время. Назавтра рано встала, хлебцы испекла, а тата уж воронуху запряг. Мама в голос, суседи прибежали: куда да куда девку собираете? А тата молчит, подхватил меня как перышко в сани и давай кобылу вожжами нахаживать. Тоже и ему не сладко было… Вёрст тридцать, до Марьиной горы, родитель подвёз. Дал мне на прощанье рупь медью. — На-ко, девка, иди с рублём в Питер, — всхлипнула Марья Петровна. — Дак ведь деньги-то не трава — в лесу не растут. А дома-то у нас ещё четверо по лавкам… Ну, дал мне родитель денег, перекрестил: «Иди, говорит, Олька, ищи свое счастье». А я как увидела, что он в сани садится, заревела: «О татонька, татонька, не уезжай. Не надо мне и сарафана». — «Нет, говорит, Олька, иди. Проходу тебе в деревне не будет, питербуркой звать станут».— Кругом ели, как медведицы на задних лапах выстали, а я одна посередь дороги. И вперед ступить боюсь, и назад ходу нету. Отец-то у нас два раза говорить не любил… Я из дому-то зимой отправилась, а на Двину-то вышла — щука лёд хвостом разломала. «Иди, говорят, прямо на весну». Вот и иду на солнышко. Тепло. Травка стала проглядывать, а потом и журавли полетели. И так мне стало тоскливо. К нам ведь журавли-то летят. Встану, голову кверху задеру: «Журавушки, журавушки, кричу, скажите нашим, что девку на дороге видели. Жива». Тата уж помирать собрался, вспомнил: «Я, говорит, сам, Олька, всю весну журавлей выспрашивал, не видали ли где мою девку?» Обносилась я, обтрепалась. Дорога сопрела, лужи выступили, а я всё в катанцах бреду. Вот в одной деревне и выйди мне навстречу мужик. «Что, говорит, глупая, лето пугаешь? Есть, говорит, у меня сапожонки некорыстные — только заплаты поставить надо». Ну, я без памяти рада. «Ладно, говорит, дам я тебе сапоги, только уговор — за каждую заплату ты мне день с робятами поводишься». Филиппьевна пожевала старыми губами, криво усмехнулась: — Много он заплаток наставил. Недели три я у него жила.

- А в Питере дома большие, каменные, и столько окошек в каждом доме — у нас во всей деревне столько-то не будет, сколько в одном тамошнем доме. А людей-то, Господи, как воды льёт. Лошадей-то скачет… А я с белым мешочком за спиной, батожок в руках, босиком, на само Невсько — главный пришпект — выкатила. Вот тут-то у меня ноженьки и отказали. Всю дорогу хорошо бежали, а на Невсько вышла — и отказали. Стою, с места двинуться не могу. Боюсь нырнуть-то в эдакий муравейник. Думаю, нырнуть-то нырну, а как вынырну? А мне суседа, Марьюшкина брата, разыскать надо. Дале догадалась: постой, ведь у меня бумажка есть, там всё написано. Ну, бумажечку достала, держу в руках. Нашелся кавалер, сам прочитал. «Тебе, говорит, девушка, на Васильевский остров надо. Иди, говорит, всё по Невському пришпекту, там цярьский дворец будет». — Филиппьевна подняла голову. — Видела. И цярьский дворец видела, и столб каменный. Стоит ли столб-то ноне? — спросила она у меня, и маленькие полинялые глазки её на мгновение зажглись любопытством. — Вишь ты, все ещё стоит, — покачала она головой. — Да и как не стоит. Каменный — чего ему деется. Морщась, Филиппьевна попробовала разогнуться, потёрла рукой поясницу. — Вишь, вот где у бабушки Питер-то сидит. Так недорослком и осталась. Меж тем Филиппьевна уже поднялась на ноги. Марья Петровна засуетилась, открыла старинный буфет, зашуршала бумагой. — Это гостинцы тебе. Ко дню рожденья, — говорила она, засовывая небольшой сверток в газете за пазуху Филиппьевне. — А про главное-то и не сказала, — вдруг пробасил с кровати Павел Антонович. — Сарафанто как? — Купила, — с досадой ответила старуха. — Все Невсько обошла, а такой же, как у Марьюшки, купила. — Ну, и подействовал сарафан на ребят? — Павел Антонович, видимо, заранее зная ответ, захохотал. — Подействовал. До пятидесяти годов в девках сидела. Марья Петровна с непритворной сердитостью замахала на мужа руками — не растравляй ты, мол, старую рану, но Павел Антонович снова громыхнул: — Не тот сарафан, наверно, купила. Филиппьевна не сразу ответила, и Бог знает, чего больше было в её словах — неизбывной горечи или запоздалой насмешки над собой: — Меня уж после люди надоумили. Не сарафаном, говорят, взяла Машка, а коровами. У отца-то ейного пять голов было, а у моего-то родителя в то лето ни одной. Выйдя на крыльцо, Филиппьевна подняла голову и, поднеся к глазам сухую коричневую ладошку, поглядела на небо. — Это на солнышко смотрит, — сказала со вздохом Марья Петровна. — Сколько, думает, зря просидела. Пусто, совсем пусто стало на улице. Пахло лесным дымом, чадом, от песчаной дороги несло зноем пустыни, и только еле приметная цепочка следов, проложенная от крыльца к соседнему дому и все ещё дымящаяся пылью, указывала на то, что тут недавно прошёл человек. Вот так же когда-то, думал я, проложила свой след на Питер безвестная пинежская девчушка. Давно смыт тот след дождями и временем. Скоро смоет время и самое Филиппьевну. Но хождение её, как сказка, останется в памяти людей. Да, хорошо это — оставить по себе хоть крохотную сказку, помогающую жить людям.